

18+

Волеслав Султанбаев

ДОРОГА НА БЕРЛИН

Волеслав Султанбаев

Дорога на Берлин

«Издательские решения»

Султанбаев В.

Дорога на Берлин / В. Султанбаев — «Издательские решения»,

Июнь 1941-го. Лейтенант Бережной знает: немцы нападут. Но молчит, боясь паники, — и его трусость стоит жизни 23 бойцам. Четыре года войны — от Бреста до Берлина, через котлы, Днепр и Освенцим — он учится заново оставаться человеком. Рядом Зина, от испуганной жены до водителя санитарной машины. И враг, тоже уставший человек. Книга о том, как выжить, не потеряв себя, и почему прощение — единственный способ не дать войне победить изнутри.

© Султанбаев В.

© Издательские решения

Содержание

Султанбаев Волеслав Исиляевич	6
Дорога на Берлин	7
Исторический Роман	8
ДОРОГА НА БЕРЛИН	9
Аннотация	10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТ БРЕСТА ДО МОСКВЫ	11
Глава 1. Ночь перед войной	11
Глава 2. Пепел и железо	14
Глава 3. Первый бой	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Дорога на Берлин

Волеслав Султанбаев

© Волеслав Султанбаев, 2026

ISBN 978-5-0070-7437-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Султанбаев Волеслав Исиляевич

Дорога на Берлин

Исторический Роман

ДОРОГА НА БЕРЛИН

Роман

Эпиграф

«Война — это не череда подвигов. Это череда выборов. И каждый выбор имеет цену. Но есть выборы, которые нельзя исправить, — можно только научиться жить с их тяжестью. И это, пожалуй, самое трудное из всего, чему учит война».

Аннотация

Июнь 1941 года Лейтенант Андрей Бережной стоит у Тереспольских ворот Брестской крепости. Он знает: немцы нападут. Он видел понтоны и слышал моторы за рекой. Но он молчит — боится, что его расстреляют за панику, что его сочтут провокатором. Эта трусость стоит жизни двадцати трем бойцам его расчета.

Через четыре года войны — от Бреста до Берлина, через Вяземский котел, Курскую дугу, Днепр и Освенцим — Бережной пройдет путь, на котором ему придется учиться заново: не воевать, а оставаться человеком. Он потеряет друзей, обретет сына, встретит врага, который окажется зеркалом его собственных страхов, и поймет: ненависть сжигает изнутри, прощение — это не слабость, а единственный способ не дать войне победить себя изнутри. Но главное — он узнает, что война не заканчивается с последним выстрелом. Она остается внутри, в запахе гари, в звуке ломающейся ветки, в горе детской обуви, которую нельзя забыть, но с которой надо научиться жить.

Рядом с ним — Зина, женщина, которая проходит свой собственный путь от испуганной жены до водителя санитарной машины, спасающей жизни на Дороге жизни и под Курском. И враг, который оказывается не зверем, а человеком, таким же испуганным и уставшим, как и они сами. Эта книга — не только о войне. Она о том, как человек остается человеком, даже когда мир вокруг рушится.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОТ БРЕСТА ДО МОСКВЫ

Глава 1. Ночь перед войной

21 июня 1941 года, 23:45. Предмостное укрепление у Тереспольских ворот.

Ночь стояла сырая, тягучая, как патока. От Буга тянуло не просто тиной — казалось, сама река выдыхала холодный, спертый воздух склепа. Луна висела низко, желтоватая и расплывчатая, точно старый пятак на дне болота, и ее бледный свет не столько освещал, сколько подчеркивал тьму, делая тени глубже, а лица бойцов — серыми, чугунными.

Андрей Бережной вгонял лопату в песчано-глинистый грунт с остервенением, которое не имело ничего общего с усердием. Это была глухая, животная тревога, которая сидела под ребрами, мешая дышать. Она пришла не сегодня — она нарастала неделями, как зубная боль, которую он заглушал табаком и приказами, но сейчас, в этой липкой тишине, боль прорвалась наружу. Каждый удар лопаты отдавался в позвоночнике старой болью — напоминанием о Халхин-Голе, где он впервые увидел смерть так близко, что она обожгла лицо.

Рядом пыхтел рябой Сазонов, бывший шахтер из Горловки. Его лопата с глухим стуком натывалась на корни вековых вязов, и он чертыхался тягучим, басовитым донбасским матом, в котором было больше усталости, чем злобы. Сазонов был из тех людей, кого война не удивила — он слишком много лет спускался в шахту, зная, что земля может схлопнуться в любой момент. Он привык жить с этой мыслью, и сейчас, под открытым небом, он чувствовал себя почти в безопасности.

— Товарищ лейтенант, — просипел он, выпрямляясь и вытирая пот с шеи. Рукав его гимнастерки был мокрым насквозь. — Хватит. Немцы не нападут. Разведка сказала — пьяные они там, «Лили Марлен» воют на всю округу. Им бы сейчас баб да шнапса, а не войны.

Бережной вытер лицо тыльной стороной ладони. Он надел телогрейку вопреки уставу — от ночного бетона кости ломило, а старое ранение в позвоночнике начинало ныть с такой силой, что перед глазами иногда вспыхивали белые точки. Он посмотрел на тот берег, вслушался в тишину. Слишком плотную. Даже лягушки в прибрежной осоке умолкли — а они никогда не замолкают просто так. Это было неправильно, противоестественно, как остановившееся сердце.

— Сазонов, — сказал он негромко, но голос его прозвучал жестко, как удар хлыста, — ты помнишь приказ №503 от четырнадцатого мая? «Не поддаваться на провокации»? Я его наизусть выучил, каждую запятую. Но особист Шевчук вчера мне шепнул... — Он запнулся, оглянулся на темноту, хотя вокруг никого не было. — Шевчук сказал: «Если услышишь, как гусеницы лязгают за рекой — бей первым. Под трибунал пойдешь, но живым останешься». Ты понимаешь, что это значит, Сазонов?

Сазонов сплюнул сквозь зубы, и в этом жесте было столько же презрения к Шевчуку, сколько и к собственному бессилию. Он ничего не сказал. Только глубже воткнул лопату в землю, будто хотел добраться до самого ядра планеты и спрятаться там.

— Заткнись и копай, — добавил Бережной уже без злобы, устало, потому что злость требовала сил, которых у него не осталось. — Если не нападут — сам тебе флягу спирта-сырца поставлю, из командирского запаса. Если нападут — будешь лежать в этой яме и спасибо скажешь, что не сгорел в казарме.

Они рыли окоп под сорокапятку — 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года. Бережной знал каждую царапину на ее станине, каждый люфт в панорамном прицеле. Ее, изношенную, сбитую на Халхин-Голе, ему передал политрук Зайцев в марте, перед тем как того отправили в госпиталь. Зайцев тогда сказал: «Держи, Андрей. Она старая, но верная. Как жен-

щина, которая любит тебя, несмотря на твои ошибки». Бережной усмехнулся тогда, но сейчас, глядя на силуэт орудия в темноте, он понял, что политрук был прав. Эта пушка была его единственной надеждой на то, что он сможет защитить своих людей.

Работали до рассвета, не разгибая спин. Земля была холодной и липкой, она впитывалась под ногти, смешиваясь с потом и мозолями. Когда небо на востоке начало сереть, Бережной машинально глянул на командирские часы «Златоуст» — стрелка показывала 3:47. Восемь минут до часа, когда в штабе округа ожидали смены караула. Он прислушался. За рекой, на той стороне, что-то ухнуло — не как артиллерия, а как тысячепудовый молот, упавший на стальную плиту. Потом еще, и еще. Это был не залп — это заработали в унисон сотни двигателей «Мерседес-Бенц», которые до этого гудели вхолостую, маскируя шум под лесоповал. Теперь они взревели, и следом ударил шестиствольный миномет «Небельверфер» — Бережной узнал его по характерному, воющему свисту, похожему на крик раненого зверя.

— Ложись, сволочи! — заорал он, падая на дно окопа, но Сазонов замешкался — он поправлял съехавшую каску. Его лицо на мгновение осветилось вспышкой разрыва, и Бережной успел заметить в его глазах не страх, а удивление — удивление человека, который вдруг понял, что все его многолетние опасения оказались правдой.

Первый снаряд разорвался в ста метрах левее — там, где стоял расчет станкового «Максима». Огненный всплеск сплющил воздух, и вверх полетело крошево бетона, обрывки шинелей, и что-то темное, что Бережной сначала принял за доски, но в следующую секунду понял — это руки. Человеческие руки, все еще сжимающие пулеметную ленту. Вторая мина ударила в казарму, где спала девятая пограничная застава. Третья — в склад боеприпасов у Холмских ворот. Грохот был таким, что у Бережного лопнула барабанная перепонка в левом ухе, и мир внезапно разделился на две половины: глухую, ватную, и режуще-звонящую, в которой он все еще слышал собственное дыхание.

Сазонов дернулся, схватился за плечо — осколок чиркнул по ключице, не глубоко, но кровь хлестала обильно, заливая гимнастерку темным, липким пятном. Он осел на колени, выругался сквозь зубы, но не потерял сознания. Его глаза, расширенные от боли, все еще смотрели на Бережного с вопросом: «Что теперь?»

— Лежи! — крикнул Бережной. — Я сам!

Он рванул к орудию, сбросил маскировочную сетку, пальцами, онемевшими от земли и напряжения, нашарил в нише снаряд УБР-243 — бронебойно-трассирующий, тот самый, который он зарядил еще ночью, вопреки приказу хранить боеприпасы в укупорке. Пушка стояла под нужным углом — он подготовил ее заранее, как готовят постель для больного, зная, что болезнь придет. Он взял поправку по зареву на том берегу — там горели цистерны с горючим, и в их пламени он увидел силуэты немецкой пехоты, уже переправляющейся на надувных лодках. Слышно было, как с того берега в мегафон кричат: «Achtung! Achtung!» — и автоматные очереди хлещут по воде, разрывая тишину на клочья.

Бережной припал к панораме. Его трясло, но прицельная сетка не плясала — он поймал самую яркую вспышку, ту, откуда бил главный миномет, и нажал на спуск. Пушка дернулась, откатилась на полметра, и он успел заметить, как снаряд уходит в темноту — тусклая красная искра, вонзившаяся в чрево ночи. Через секунду там, за рекой, рвануло так, что земля под ним снова вздрогнула — он попал в штабельную машину или в ящик с минами. Он не знал, что именно, но вспышка была ослепительной, а грохот — оглушительным.

Он сунул руку за следующим снарядом и понял, что пальцы трясутся. Он выругался сквозь зубы — не матом, а каким-то звериным, горловым рыком, — заставил себя успокоиться и выстрелил снова. Но второй выстрел ушел в молоко — он поторопился, не взял поправку на ветер, который внезапно поднялся от реки. Снаряд разорвался в воде, подняв высокий столб, но не причинив вреда.

— Черт! — выдохнул он, чувствуя, как горечь неудачи обжигает горло.

Сазонов, прижимая к плечу окровавленный рукав, подполз к ящикам и начал подавать снаряды, работая одной рукой. Его лицо было бледным, но глаза горели той же яростью, что и у Бережного. Бережной стрелял снова и снова, но каждый раз он чувствовал, как дрожит его рука, как сердце колотится о ребра, как пот заливает глаза. Он знал: он опоздал с первым выстрелом. Он должен был ударить, когда услышал гусеницы, еще минуту назад. А он медлил, боясь, что его осудят за провокацию, что его назовут паникером, что его расстреляют свои же, прежде чем он успеет сделать хоть что-то.

«Я струсил, — вдруг отчетливо понял он, и эта мысль ударила сильнее любого осколка. — Я испугался трибунала больше, чем их танков. Я пожертвовал своими людьми ради собственной шкуры».

Он заскрежетал зубами так, что на скулах вздулись желваки, и вдавил прицел в глазницу. Теперь он бил яростно, но расчетливо, как будто каждый выстрел должен был искупить его медлительность. Он знал, что эта ночь останется с ним навсегда — и ее цена уже начала отсчитываться, как секунды до взрыва.

Глава 2. Пепел и железо

Июль — август 1941 года.

Батарея Бережного продержалась трое суток в каменном мешке крепости. Это были не просто сутки — это были три вечности, где время измерялось не стрелками часов, а остывающим казенником орудия, количеством оставшихся унитарных патронов и сухостью глоток. Стены древней цитадели, помнившие еще пороховой дым Наполеона, теперь впитывали в себя едкий запах кордита, смешанный с приторно-сладкой вонью паленого мяса. Каждый камень, каждая трещина в кладке пропиталась гарью и кровью, превратившись в одно огромное, дышащее болью существо.

На четвертые сутки, когда свинцовое горло орудия издало сухой, беспомощный хлопок вместо выстрела — всего лишь эхо сгоревшего заряда, — Бережной понял: час пробил. Тишина после этого хлопка была страшнее, чем канонада. Это была тишина опустевшего храма, где больше некому молиться.

Он отдал приказ отходить в подземелья, а сам остался у орудия. Ему казалось правильным умереть вместе со своим железным товарищем — так капитаны уходят на дно вместе с искореженным мостиком, сжимая в пальцах телеграфный ключ. Он подорвал орудие гранатой, но сделал это с мучительным опозданием — слишком долго ждал, пока бойцы скроются в лабиринте развалин; слишком жадно всматривался в их спины, боясь, что кто-то обернется и увидит его страх — животный, липкий ужас, который заливался под ребра, как расплавленный свинец.

Взрывная волна швырнула его о стену с такой силой, что мир раскололся на две половины: сначала ослепительная, белая вспышка, выжигающая сетчатку, а затем — ватная, гулкая тишина, в которой тонули даже крики. Контузия забила уши серой пробкой, лишив его звука на несколько часов, но оставив с ощущением непрерывающегося подземного гула — как будто земля продолжала стонать, даже когда взрывы стихли.

Когда он очнулся, лежа на битом кирпиче, первой мыслью было не о боли в ребрах или тошноте — а о странной, противоестественной несправедливости: зачем он выжил, если его орудие — его продолжение, его плоть и совесть — превратилось в грудку искореженного, бесполезного металла? Он поднялся, пошатываясь, и увидел, что от его «сорокапятки» остались только обгоревшие обломки станины, похожие на скелет какого-то древнего животного. Он упал на колени перед этим скелетом и заплакал — впервые с детства, не стыдясь слез, не сдерживая их. Слезы смешивались с копотью на его лице, оставляя грязные разводы.

С ним вышли четверо. Сазонов — пожилой, жилистый, со следами давней, еще финской, седины на висках, с пулевым ранением в плечо, которое он перетянул собственным ремнем так туго, что пальцы синели. Он шел, стиснув зубы так, что на скулах вздувались желваки, и только иногда, когда никто не видел, позволял себе короткий, сдавленный стон — стон человека, который не привык жаловаться, потому что в шахте жалобы никто не слушает.

Кузьма Жуков — молчаливый, грузный сибиряк с приплюснутым носом кузнеца, чьи руки, привыкшие к увесистому молоту, теперь сжимали винтовку с той же уверенностью, с какой он когда-то держал раскаленное железо. Он не чувствовал ожогов, потому что за годы работы в кузнице его ладони покрылись такой толстой коркой мозолей, что она заменяла ему кожу. Но сейчас, глядя на разрушения, он молчал — и это молчание было тяжелее любых слов.

И двое молодых: Пашка — восемнадцатилетний идеалист из-под Смоленска, с пушком над верхней губой и детской верой в газетные сводки. Он говорил о победе шепотом, будто боялся спугнуть ее, будто она была пугливой лесной птицей, которая могла улететь, если говорить слишком громко. Он нес в себе ту наивную веру, которая помогала ему не сойти с ума

от ужаса, и Бережной завидовал этой вере, хотя и знал, что она скоро разобьется о жестокую реальность.

И Гриша — угрюмый, сутулый рязанский парень с тяжелым, исподлюбья, взглядом, который за первые недели войны нагляделся на смерть столько, сколько иному не увидеть за всю жизнь. Теперь он смотрел на мир сквозь прорезь прицела своей трехлинейки, деля все на «живое» и «мертвое». Он перестал разговаривать без необходимости, и его голос звучал редко, как выстрел, — только когда нужно было предупредить об опасности или отдать команду.

Всего пять человек. Остальные двадцать три бойца расчета остались в каменном мешке. Кто убит осколками, кто завален рухнувшей кладкой, кто уведен в плен с поднятыми руками, кто просто исчез в едком, непроницаемом дыму — Бережной не знал, и это незнание было хуже любой похоронки: оно оставляло тупую, иррациональную надежду, которая разъедала душу сильнее, чем самая лютая безнадежность. Он боялся надеяться, но не мог перестать.

Они двигались на восток в потоке, который нельзя было назвать отступлением. Это был распад самой материи войны — когда исчезают фронты, когда приказы тонут в общем гвалте, а армия превращается в огромное, обезумевшее стадо, гонимое невидимым пожаром. Люди, машины, лошади с выпученными от ужаса глазами, в которых отражалось зарево горящих эшелонов, — все текло по смоленским проселкам, как вода сквозь трещины в плотине, размывая остатки порядка.

Бережной шел пешком, изредка ловил попутки на разбитых полуторках, где в кузовах лежали раненые, и воздух был густым от йода, пота и запекшейся крови. Ночевал в обозах, где женщины в платках, с лицами, похожими на выжженную землю, молча раздавали хлеб, не спрашивая имен. Имена теперь не имели значения — было важно лишь одно: направление. На восток. От заката к рассвету.

На третьи сутки, когда они остановились у сгоревшей деревни, от которой остались только печные трубы, торчащие из золы, как черные надгробья, Бережной приказал сделать привал. Сазонов, бледный, с меловой кожей от потери крови, сидел на обугленном бревне и молча перематывал повязку, кусая губы до крови, чтобы не застонать вслух. Пашка разводил костер из обломков икон — лики святых корбились в огне, оплавляясь, как воск, источая запах старого лака. Гриша чистил винтовку, и его движения были механическими, бездумными, как у заведенной куклы, — он протирал ствол снова и снова, хотя там уже не было ни пылинки. Кузьма сидел в стороне, глядя на огонь, и в его глазах отражалось пламя, но сам он казался высеченным из камня.

— Я должен был доложить лично, — сказал Бережной внезапно, и голос его прозвучал глухо, будто он говорил не с ними, а с тенями, что столпились за их спинами у обгоревшего частокола. — В мае. Когда увидел понтоны на Днепре. И моторы за лесом. Я написал рапорт, отправил с вестовым, а сам не пошел к комбату. Думал — пронесет. Думал, что моя бумага сделает все за меня. Что кто-то прочтает и примет решение.

Он замолчал, и в тишине было слышно, как потрескивает огонь, пожирающий лики святых. Он посмотрел на своих людей — на Сазонова, который смотрел в землю, на Кузьму, который не поднимал глаз, на Пашку, который перестал шевелиться, на Гришу, который замер с винтовкой в руках. Они ждали. Они всегда ждали от него правды, даже когда она была горькой.

Кузьма поднял на него тяжелый, как гирия, взгляд. В его глазах не было осуждения — только усталость человека, который пережил тридцать седьмой и знал цену молчанию. Цену доносов и цену оговоренных фраз.

— Тебя бы могли расстрелять за панику, — сказал он ровно, констатируя факт, как констатируют прогноз погоды: сухо, безжалостно. — В лучшем случае — отправить в штрафбат, на разминирование. Ты не просто испугался немцев. Ты испугался своих. И это страшнее. Свои хуже зверя, когда они в форме.

Бережной не ответил. Он смотрел в огонь, и в его голове крутилась одна навязчивая, как зубная боль, мысль: он должен искупить эту слабость. Не перед трибуналом, не перед особистами — перед теми двадцатью тремя, чьи имена он не знал, но чьи безликие, стертые лица видел во сне каждую ночь. Они приходили к нему в тишине, молчаливые, с пустыми глазами, и он просыпался в холодном поту, чувствуя, как вина сжимает горло удавкой.

На следующий день они вышли к речушке с обугленными берегами — когда-то здесь был деревянный мост, теперь остались только черные головешки, торчащие из мутной воды, как пальцы утопленников, зовущие на помощь. Вода была теплой и горькой от гари; она пахла пеплом и смертью, разложением и железом. Бережной умылся, набрав пригоршню, и ему показалось, что вместе с копотью с лица смывается хоть часть вины. Он долго стоял на коленях у воды, глядя на свое отражение: чужое, незнакомое лицо с провалившимися, потухшими глазами человека, который видел слишком много и слишком мало сделал.

Здесь, в низине, под грудой обгоревших бревен, погребших под собой, видимо, целый взвод пехоты, лежала она. Сорокапятка. Противотанковое орудие образца 1937 года, которое солдаты ласково и горько звали «прощай, родина» за его почти полную беспомощность против лобастых, толстобронных немецких «панцеров». Но сейчас она казалась ему не просто орудием — она была посланием, весточкой из того мира, где еще есть порядок. Новенькая, девственно чистая, нетронутая ржавчиной, среди этого ада, будто ее только что выкатили из заводского цеха Урала. Ствол — сизый, ровный, покрытый едва заметной смазкой, еще хранил запах машинного масла, смешанный с гарью пожарищ. Рядом, в ящиках, обитых жестью, лежали унитарные патроны — десяток бронебойных и два осколочных, блестящих, как драгоценность.

Бережной рухнул на колени прямо в мокрую землю. Он обнял ствол, прижался щекой к холодному, гладкому металлу, в котором уже билась новая жизнь — злая, упрямая, готовая мстить за всех, кто не дошел до этой реки. Металл казался живым, теплым — он отдавал истощенному телу энергию, которую вобрал от солнца и не утратил даже в этом аду.

— Смотри, — сказал он хрипло, срывая голос на хрип, — у нее даже казенник целый. И нарезы не сбиты. Она — как новая. Как будто ждала нас. Как будто мы должны были прийти именно сюда.

Кузьма подошел, постучал костяшками пальцев по стволу — привычка кузнеца проверять металл на звон, на скрытую трещину. Орудие отозвалось певучим, чистым, высоким звоном, и в этом звуке было что-то от церковного колокола, что-то от той надежды, которую они уже почти потеряли среди смоленских лесов. «Лизка» — название пришло само, без усилий, как будто женщина, спрятанная внутри железа, прошептала его на ухо, коснувшись сознания.

— До Берлина дойдет, — сказал Кузьма без пафоса, просто как факт, как приговор, вынесенный судьбой. В его голосе не было веры — была только твердая уверенность человека, который знает, что если взять в руки молот, то рано или поздно он ударит по наковальне.

— Дойдет, — повторил Бережной, и в голосе его зазвенела сталь, холодная и твердая. — Только теперь мы будем стрелять не по уставу, не по таблицам стрельбы. Мы будем делать то, что считаем нужным.

Он взялся за очистку ствола банником с ожесточением, каким чистят открытую, гноящуюся рану, чтобы она не убила тело. Но вдруг остановился, замер, сжимая шомпол. Повернулся к Пашке, который стоял с открытым ртом, глядя на это чудо среди пепла:

— У тебя есть бумага? Не устав, не бланк, не личное дело — просто бумага, на которой можно писать карандашом.

Пашка порылся в вещмешке, отыскал мятый, измокший лист — обрывок конверта, в котором когда-то пришло письмо из дома, пахнущее махоркой и родным подолом. Протянул, не спрашивая зачем.

Бережной достал огрызок химического карандаша, который носил в нагрудном кармане — единственное, что осталось от его гражданской жизни. Он прижал лист к колену, и его пальцы, привыкшие к рычагам и замкам орудия, вывели неровные, но твердые, въедливые буквы:

«Это я, лейтенант Бережной. Мы отступаем. Я виноват в том, что не настоял на тревоге раньше. Я видел понтоны и двигатели, но побоялся, что меня сочтут паникером и расстреляют, и смолчал. Если погибну — знайте, что я не герой. Я солдат, который испугался за свою шкуру и из-за этого подвел других. Но теперь я буду бить до конца. Я буду держать этот ствол, пока у меня есть руки и снаряды. Простите меня, если сможете. А если нет — я пойму. Я не прошу оправдания — я прошу памяти. Пусть помнят, что даже трус может стать полезным, если он перестанет бояться за себя и начнет бояться за других. Бережной».

Он свернул бумагу в плотный, тугой, как гильза, рулон, открыл затвор и сунул записку глубоко в дуло — туда, где пахло нагаром и еще не остывшим, живым порохом, туда, откуда начинается путь снаряда к цели.

— Что ты делаешь? — спросил Сазонов, приподнявшись на бревне, и голос его был полон тревоги. Он смотрел на Бережного так, будто тот совершал что-то кощунственное.

— Оставляю правду, — ответил Бережной, закрывая затвор с металлическим, резким лязгом. — Не для немцев, не для истории, не для Особого отдела. Для себя. Если меня убьют, кто-то найдет ее и прочитает. Пусть знают, каким я был — не по наградному листу, а по совести. А если выживу — я сам к ней вернусь, когда закончится война, и прочитаю еще раз, чтобы не забыть, кто я есть на самом деле.

Он поднялся, отряхнул колени, и в его глазах появилось то выражение, которое Сазонов видел у шахтеров перед самым опасным спуском — смесь решимости и фатализма.

Они впрягли пушку в лошадей, найденных у местных крестьян, убитых или ушедших — двух тощих, облезлых, но еще живых кобыл, которые дрожали от каждого дальнего раската канонады, но шли, подчиняясь твердым, привычным рукам Кузьмы. Когда орудие тронулось с места, колеса глубоко зарылись в мокрую, размокшую от слез земли, оставляя за собой глубокие, черные борозды, похожие на раны на теле земли.

Бережной шел рядом, держась за станину, чувствуя, как мелкая вибрация от колес передается в руки, в сердце, в самые кости, сливаясь с его собственным ритмом. В этот момент, шагая по размокшей дороге, он принял решение, которое не записал ни в одном рапорте: больше никогда не будет молчать, когда видит опасность. Он будет орать до хрипоты, будет бить кулаком по столу, будет рисковать погонами, карьерой, свободой и жизнью, но не допустит, чтобы его трусость или нерешительность стоила кому-то дыхания.

Но глубоко внутри, где-то под ребрами, он знал: эта клятва — только начало его пути. Потому что война — это не череда подвигов, как пишут в газетах. Это череда выборов, каждый из которых тяжелее предыдущего. И не факт, что он снова не струсит, когда перед ним снова встанет выбор: жизнь или совесть. Но теперь у него есть Лизка. Есть его пять человек. Есть записка в стальном чреве, как заноза в совести, которая не даст ему забыть, что человек начинается не с ордена на груди, а с умения признать свою слабость перед лицом других.

Когда они вышли из низины на пригорок, Бережной обернулся и посмотрел назад, на дымящийся горизонт, где еще горели остатки их прошлой жизни. Он знал, что они больше никогда не вернутся туда, но он также знал, что это неважно. Важно было то, что они несут с собой — не только орудие, но и память о тех, кто остался в каменном мешке, и обещание, которое они дали себе и друг другу.

— Вперед, — сказал он тихо, но так, что его услышали все. — Вперед, к новой войне.

И они пошли, оставляя за собой следы в мокрой земле, которые скоро смоет дождь или сотрут новые колонны, но не могли смыть ту правду, которую он оставил в дуле орудия. Правду о том, что даже в самые темные времена человек может выбрать не геройство, а честность

перед собой. И эта честность, возможно, была единственным оружием, которое не даст ему сломаться до конца.

Глава 3. Первый бой

Август 1941 года. Под Бобруйском.

Воздух был липким, как патока, и тяжелым, точно вата. Небо, набухшее свинцом, давило на позвонки, пригибая к самой земле, лишая человека права на выпрямленный позвоночник. Запах гари смешивался с болотным духом — чем-то сладковато-гнилостным, что заползало в легкие и оседало там липким, дурным комком, вызывая тошноту. Дорога, еще утром державшая твердую колею, к полудню раскисла в жидкую глинистую кашу, но именно здесь, между двух трясин, она сужалась в горловину. Единственное горлышко, за которое можно было зацепиться зубами, вцепиться мертвой хваткой.

Бережной развернул «Лизку» на сухом пяточке, вдавив колеса в землю по самые ступицы. Он чувствовал, как дрожит металл под его ладонями — не от холода, а от напряжения, которое передавалось от него орудию. В ста метрах правее, за чахлым, обгорелым кустарником, встала вторая сорокапятка — расчет лейтенанта Мельника. Тот был молод, с воспаленными от бессонницы глазами, но взгляд имел цепкий, злой, по-волчьи голодный. Сейчас у Бережного было две пушки, и это вселяло хрупкую, обманчивую иллюзию силы. Он знал тактику наизусть, вызубрил ее кровью предшествующих боев: сорокапятка против пятидесятимиллиметровой лобовой брони «Штугов» — это не дуэль, это самоубийство с подстраховкой. Если не сбить эти самоходки с дистанции, пехота, залегшая внизу, в жидких березках, будет выкошена за десять минут, как серпом по колосу. Он мысленно видел эти тела, еще не упавшие, но уже обреченные.

— Кузьма, броневой к бою, — голос Бережного прозвучал глухо, перекрывая звон в ушах от предыдущей канонады. — Я скажу когда. Не дергайся.

Кузьма замер у казенника, его крупные, в глубоких мозолях пальцы лежали на холодном боку снаряда, как на взведенной гранате. Рядом, прижимая перевязанное плечо к станине, стоял Сазонов — он дышал через раз, с хрипом, но уперся, не пошел в обоз, хотя Бережной приказал ему дважды. Пашка, самый молодой, сидел за щитом, судорожно сжимая трехлинейку так, что костяшки побелели; ему досталась роль заслона от немецкой пехоты, но Бережной видел, как дрожит ствол его винтовки, и понимал, что мальчишка не выстрелит, пока враг не подойдет в упор.

Из тумана, стелющегося над мокрым лугом, выползли два «Штуга». Приземистые, безбашенные, с короткими, похожими на обрубки стволами, они казались Бережному не машинами, а живыми хищниками, выползающими из первобытной мглы. Они перекрывали дорогу косой дугой, переваливаясь на ухабах, как сытые звери. Бережной прильнул к панораме, делая поправку на влажность воздуха и дальность, чувствуя, как под веками начинает пульсировать кровь.

— Первый — по левому. Бей в стык башни, — приказал он и добавил сквозь зубы, почти шепотом: — Не торопись. У нас один выстрел.

Кузьма крутанул маховик. Скрежет привода прозвучал как скрежет собственных позвонков. Бережной ждал, закусив губу до крови, ощущая соленый привкус на языке. Он знал: первый выстрел — это приговор, который они выносят сами себе. Промех — и твою позицию накроют минометы раньше, чем ты перезарядишься; ты просто соришь, не успев понять, что умер.

— Есть... — прошептал Кузьма, и голос у него был чужой, какой-то тонкий, детский.

Бережной положил руку на плечо наводчика, сжал его, чувствуя, как под мокрой гимнастеркой напряглись мышцы, как мелко дрожит кожа.

— Жди.

В тактике сорокапятки была своя горькая, циничная математика. На дистанции в триста метров снаряд мог только лизнуть броню, оставить царапину, разозлить зверя. Нужно было подпустить их на двести пятьдесят — дистанцию, когда снаряд уже не рикошетит, а вгрызается, впивается в сталь с отчаянной злобой. Бережной смотрел, как гусеницы «Штуга» месят грязь, как машина переваливается на ухабах, как дышит выхлопная труба. Секунды тянулись ватой, липкой и душной. Он слышал, как стучит его собственное сердце — этот звук заглушал все остальное.

— Давай, — выдохнул он, и воздух из легких вышел вместе с частью страха.

Кузьма нажал на спуск. Ударная волна хлестнула по ушам, оружие дернулось назад, лязгнув железом станин, отскочив на полметра. Снаряд, воющий, как обезумевшая птица, ушел в цель, но в последний миг Бережной увидел, как «Штук» клюнул носом в яму. Снаряд чиркнул по лобовой броне, высек сноп искр — рикошет. Мерзкий, визжащий звук, от которого у Бережного свело скулы.

— Промых! — заорал Сазонов, ударив кулаком по щиту так, что тот задребезжал. — Твою мать!

— Я видел! — огрызнулся Бережной, но внутри у него все оборвалось. Он допустил ошибку. Он не учел рельеф. Он не заметил ту чертову яму.

Немцы не дали им времени на раздумья. Ведущий «Штук» развернул ствол в их сторону, и грохот его выстрела был похож на удар огромного молота по наковальне мира. Снаряд разорвался в десяти метрах, ворвавшись в землю с такой силой, что она вздыбилась фонтаном черной грязи. Бережного оглушило, в рот набилась горькая, воняющая селитрой земля, осколки с визгом застучали по стальному щиту, оставляя вмятины, и один из них чиркнул по шлему, сбив его на затылок.

— Второй! — закричал он, выплевывая грязь и кровь из разбитой губы. — Заряжай!

Кузьма уже подавал новый снаряд, руки его двигались с автоматной скоростью, но Бережной краем глаза заметил движение. Второй «Штук» резко увеличил ход, уходя вправо, в обход. Он пытался выйти на фланг, чтобы стрелять по-зверски, навскидку, как охотник, добивающий раненого кабана.

На секунду Бережной замешкался. В голове включился холодный, циничный тактический счетчик, который он ненавидел, но который спасал ему жизнь: если бить по первому — он стоит на месте, цель верная, но второй зайдет сбоку и разнесет их, как карточный домик; если бить по второму — он в движении, шанс промаха пятьдесят на пятьдесят, и тогда первый ударит наверняка. Мозг лихорадочно перебирал варианты, а время утекало сквозь пальцы, как вода сквозь пальцы утопающего. Он чувствовал, как каждая секунда отдается пульсом в висках, как пот стекает по спине, ледяной и липкий.

— Командир! — закричал Сазонов, поняв заминку, его голос сорвался на фальцет. — Бей по второму, он нас с фланга достанет! Бей, дурак!

— Заткнись! Я вижу! — рявкнул Бережной, но в голосе его была нотка паники, и он сам это слышал. Он терял контроль.

Он сделал выбор. Интуитивный, неправильный, подсказанный не разумом, а животным страхом потерять гарантированную цель. Он решил бить по тому, кто стоял ближе, чтобы гарантированно вывести его из строя, успокоить себя этим маленьким успехом, а потом уже разбираться со вторым. Это казалось логичным, но война не терпит логики. Война любит подлость.

— Третий! Под ходовую! — скомандовал он, и голос его прозвучал как приказ, который он сам себе не простит.

Кузьма выстрелил. Снаряд ушел точно — порвал гусеницу первого «Штуга», и та повисла рваной стальной змеей, зазвенела о землю. Машина перекосилась, ствол ткнулся в землю, поте-

ряв подвижность. Из ее башни еще бил пулемет, но главная опасность вроде бы миновала. Бережной выдохнул, но выдох застрял в горле.

Но Бережной опоздал. Второй «Штук» уже вышел на огневую позицию.

Он увидел это глазами Сазонова — расширенными от ужаса, в которых плескалась бездна. Второй «Штук» ударил с фланга. Снаряд разорвался ровно между станин орудия Мельника. Взрыв был страшный — не громкий, а какой-то маслянистый, плотный, как удар кувалдой в солнечное сплетение, от которого перехватывает дыхание. «Сорокапятка» Мельника подскочила, переломила пополам, колеса разлетелись в разные стороны, брызнув спицами. Бережной видел, как Мельник, еще секунду назад живой, сжатый в комок, исчезает в огненном столбе, растворяется в нем, как сахар в кипятке. На мгновение в воздухе повисла тишина, а потом раздался скрежет — металл рвало на части.

— Мельник! — закричал Бережной, но крик потонул в грохоте, захлебнулся собственным ужасом. Двое бойцов из расчета Мельника пытались отползти, но мина накрыла их в следующую секунду, размазав по земле, как мокрые тряпки.

Бережной смотрел на это и понимал: он мог предотвратить это. Он выбрал не ту цель. Если бы он ударил по «Штуку», который шел в обход, если бы он доверился чутью, а не страху, Мельник был бы жив. Внутри у него все оборвалось, но времени на это не было. Он не мог позволить себе роскошь скорби.

— Кузьма! Бронебойный! По второму! Живо! — заорал он, и голос его сорвался на визг, на тонкий, бабский звук, которого он сам от себя не ожидал.

Кузьма, бледный как мел, уже подавал снаряд. Бережной припал к панораме, чувствуя, как пот заливает глаза, смешиваясь с гарью и слезами, которые он не замечал. Он взял поправку на три деления влево, поймал в перекрестье борт движущейся машины, чувствуя, как дрожит его палец на спуске. Выстрел. Снаряд ушел в ходовую часть, гусеница лопнула с металлическим визгом, и из-под нее брызнули искры. Второй «Штук» встал, как вкопанный, клюнув носом вперед.

— Еще! В стык башни! Не дай им вылезти! — Бережной почти не слышал себя из-за пульсирующей крови в висках. Он видел только перекрестье, только ненавистную сталь.

Третий снаряд вошел точно в цель. В этот раз броня не выдержала — пробила, и из башни повалил густой черный дым, смешанный с оранжевыми языками, которые лизали небо. «Штук» замер, накренившись на левый борт. Из люка никто не вылез — только черный, маслянистый дым, воняющий горелым мясом и соляжкой.

— Есть! — выкрикнул Сазонов, но радости в его голосе не было. Он смотрел на дымящиеся обломки, где лежал Мельник.

И в этот момент, будто из преисподней, из тумана вынырнули немецкие автоматчики. Они обошли горящий «Штук» и шли клином, пригибаясь к земле, перекатываясь через воронки, как серые тени. Пашка вскочил, начал стрелять, но его сразу же прижали плотными очередями, заставив вжаться в бруствер, в мокрую землю.

— К орудию! Картечью! — заорал Бережной.

Он рванул к ящику со снарядами, но в этот момент рядом с «Лизкой» земля вздыбилась. Мина. Осколки ударили по расчету: Сазонов упал, схватившись за ногу, закричал тонко, по-звериному; Кузьму отбросило в сторону, он ударился головой о станину и затих, обмяк, как мешок с картошкой. Бережной остался один.

Немцы были в ста метрах. Они бежали, переваливаясь через воронки, и их очереди ложились все ближе, взрывая землю у самых ног. Бережной метнулся к ящику, пальцы судорожно шарили по холодному металлу картечного снаряда, но руки не слушались, дрожали крупной дрожью.

И вдруг он почувствовал это. Не страх. Что-то другое. Ярость, которая поднялась из самого нутра, из той бездны, о существовании которой он не подозревал. Она застилала глаза

красной пеленой, разрывала грудь, требовала выхода. Он больше не видел угрозы. Он видел убийц своих товарищей. Вместо того чтобы дозарядить оружие, он выхватил автомат, перемахнул через бруствер и с диким, нечеловеческим криком, в котором не было слов, только первобытная боль, побежал на них.

— А-а-а! — крик рвал горло, и он чувствовал, как кровь из разбитой губы заливает подбородок.

Он бил очередями, не целясь, на звук, на движение. Видел, как серые фигуры падают, как их дергает в последней агонии, как они валятся в грязь, мешая ее с собственной кровью. Он перезарядился на бегу, споткнулся о труп, встал и побежал дальше, перешагивая через тела. Он хотел убивать. Не воевать. Убивать. За Мельника. За каждого, кто уже не встанет.

— Командир! — донесся сзади надрывный крик Сазонова. — Назад, дурак! Оружие бросил! Назад!

Бережной не слышал. Мир сузился до размера прицельной планки, до фигур в сером, до хрипа выстрелов. Он добежал до ближайшего немца, ударил его прикладом в лицо, с хрустом раздробив скулу, почувствовал, как кость хрустнула под ударом, как брызнула теплая кровь. Потом выстрелил в другого в упор, в живот, увидел, как тот сложился пополам, потом еще, в третьего, который пытался поднять руки. Кровь брызнула на лицо, горячая и липкая, пахнувшая железом, но он не вытирал ее. Он был в каком-то кровавом тумане, где не было мыслей, только пульс в висках, только жажда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.